



## МАРИ ДЮПЛЕССИ

В тысяча восемьсот сорок пятом году, в эпоху благоденствия и мира, когда молодая Франция была осыпана всеми дарами ума, таланта, красоты и богатства, в Париже проживала молодая, замечательно красивая и привлекательная особа; где бы она ни появлялась, все, кто видел ее в первый раз и не знал ни имени, ни профессии, обращали на нее почтительное внимание. И действительно: у нее было самое безыскусственное, наивное выражение лица, обманчивые манеры, смелая и вместе с тем скромная походка женщины из самого высшего общества; лицо у нее было серьезное, улыбка значительная, и при виде ее можно было повторить слова Эллевью об одной придворной даме: не то это кокотка, не то герцогиня.

Увы, она не была герцогиней и родилась на самом низу общественной лестницы; нужно было иметь ее красоту и привлекательность, чтобы в восемнадцать лет так легко перешагнуть через первые ступени. Помню, я встретил ее в первый раз в отвратительном фойе одного бульварного театра,

плохо освещенного и переполненного шумной публикой, которая обыкновенно относится к мелодраме как к серьезной пьесе. В толпе было больше блузок, чем платьев, больше чепцов, чем шляп с перьями, и больше потрепанных пальто, чем свежих костюмов; болтали обо всем: о драматическом искусстве и о жареном картофеле; о репертуаре театра Жимназ и о сухарях в театре Жимназ; но когда в этой странной обстановке появилась та женщина, казалось, что взглядом своих прекрасных глаз она осветила все эти смешные и ужасные вещи. Она так легко прикасалась ногами к неровному паркету, как будто в дождливый день переходила бульвар; она инстинктивно приподнимала платье, чтобы не коснуться засохшей грязи, вовсе не думая показывать нам свою стройную, красиво обутую ножку в шелковом ажурном чулке. Весь ее туалет гармонировал с ее гибкой и юной фигуркой; прелестный овал слегка бледного лица придавал ему обаяние, которое она распространяла вокруг себя, словно какой-то необыкновенно тонкий аромат.

Она вошла, прошла с высоко поднятой головой через удивленную толпу и — представьте себе наше удивление, Листа и мое, — фамильярно села на нашу скамейку, хотя ни Лист, ни я не были с ней знакомы; она была умная женщина, со вкусом и здравым смыслом, и первая заговорила с великим артистом; она сказала ему, что слышала его недавно и что он очаровал ее. Он, подобный звучным инструментам, которые отвечают на первое дуно-

вание майского ветерка, слушал со сдержанным вниманием ее слова, полные содержания, звучные, красноречивые и мечтательные по форме. Со свойственным ему поразительным тактом и привычкой вращаться как среди официального мира, так и среди артистического, он задавал себе вопрос: кто эта женщина, такая фамильярная и вместе с тем такая благородная, которая первая с ним заговорила, но после первых же слов обращалась с ним несколько высокомерно, как будто он был ей представлен в Лондоне, при дворе королевы или герцогини Сутерландской?

Однако в зале уже прозвучали три торжественных удара режиссера, и в фойе не осталось никого из публики и критиков. Только незнакомая дама оставалась со своей спутницей и с нами, — она подседа даже поближе к огню и поставила свои замерзшие ножки так близко к поленьям, что мы свободно могли рассмотреть ее всю, начиная с вышивки ее юбки и кончая локонами прически; ее рука в перчатке была похожа на картинку, ее носовой платок был искусно обшит королевскими кружевами; в ушах ее были две жемчужины, которым могла бы позавидовать любая королева. Она так носила все эти вещи, как будто родилась в шелку и бархате, под золоченой кровлей, где-нибудь в великолепном предместье, с короной на голове, с толпой льстецов у ног. Ее манеры гармонировали с разговором, мысль — с улыбкой, туалет — с внешностью, и трудно было бы отыскать на самых верхах общества личность, так гармони-

ровавшую со своими украшениями, костюмами и речами.

Лист был очень удивлен таким чудесным явлением в подобном месте, таким приятным антрактом в этой ужасной мелодраме и разошелся. Он был не только величайший артист, но и очень красноречивый собеседник. Он умел разговаривать с женщинами и, как они, переходил от одной идеи к другой, прямо противоположной. Он обошел парадоксы и то касался серьезных материй, то смешных; я не сумею вам описать, с каким искусством, с каким тактом, с каким безграничным вкусом он вел с этой незнакомкой обычный, немного вульгарный и в то же время чрезвычайно изящный разговор.

Они разговаривали так в продолжение всего третьего акта мелодрамы, а ко мне обращались только два из вежливости; я находился как раз в это время в том скверном настроении, когда человеческая душа не поддается никакому восторгу, и был уверен, что незнакомая дама считает меня очень скучным и глупым, в чем она была совершенно права.

Зима прошла, прошло лето, а осенью на блестящем бенефисном спектакле в Опере мы вдруг увидели, как шумно открылась большая ложа в бельэтаже и там появилась с букетом в руках та самая красавица, которую я видел в бульварном театре. Это была она! Но на этот раз — в роскошном туалете модной женщины, сверкая блеском победы. Она была восхитительно причесана, ее прекрасные

волосы были переплетены бриллиантами и цветами и так грациозно зачесаны, что казались словно живыми; у нее были голые руки и грудь, и на них сверкали ожерелья, браслеты, изумруды. В руках у нее был букет, не сумею сказать какого цвета; нужно иметь глаза молодого человека и воображение ребенка, чтобы различить окраску букета, над которым склоняется красивое лицо. В нашем возрасте замечают только щечки и глаза и мало интересуются всем остальным, а если стремятся сделать какие-нибудь выводы, то их черпают в самом человеке, и это доставляет немало труда.

В этот вечер Дюпре начал борьбу со своим непокорным голосом, окончательный бунт которого он уже предчувствовал; но он один это предчувствовал, большая публика этого и не подозревала. Только немногие любители угадывали усталость, скрытую под искусными приемами, и истощение артиста от колоссальных усилий лгать перед самим собой. По-видимому, прекрасная дама, о которой я говорю, была такой ценительницей: послушав несколько минут очень внимательно и не поддавшись обычному очарованию, она энергично отодвинулась в глубину ложи, перестала слушать и начала с лорнетом в руках изучать публику.

Вероятно, она многих знала среди избранной публики этого спектакля. Судя по движению ее лорнета, легко было заключить, что молодая женщина могла рассказать многое о молодых людях с самыми громкими именами; она смотрела то на одного, то на другого, без разбора, не выделяя никого

своим вниманием, равнодушная ко всем, — и каждый отвечал ей на оказанное внимание улыбкой, или быстрым поклоном, или мимолетным взглядом. Из глубины темных лож и мест оркестра к прекрасной женщине летели другие взоры, пламенные, как вулкан, но их она не замечала. Но когда ее лорнет случайно попадал на дам из настоящего общества, она внезапно принимала такой покорный и жалкий вид, что было больно на нее смотреть. И наоборот, она с горечью отворачивалась, если по несчастной случайности ее взор падал на красавиц, пользующихся сомнительной известностью и занимающих самые лучшие места в театре в большие дни. Ее спутник (на этот раз у нее был кавалер) был очень красивый молодой человек, наполовину парижанин, сохранивший еще некоторые остатки отцовского состояния, которые он съедал день за днем в этом погибельном городе. Этот начинавший жить молодой человек гордился своей спутницей, достигшей апогея красоты, с удовольствием афишировал свое право собственности на нее и надоедал ей всевозможными знаками внимания, которые так приятны молодой женщине, когда они исходят от милого сердцу любовника, и так неприятны, когда не встречают взаимности... Она его слушала, не слыша, и смотрела на него, не видя... Что он говорил? Она не знала; но она старалась отвечать, и эти бессмысленные слова утомляли ее.

Таким образом, сами того не подозревая, они были не одни в ложе, стоимость которой равнялась

полугодичному пропитанию целой семьи. Между ней и ним возник обычный спутник больных душ, уязвленных сердец, изможденных умов: скука, этот Мефистофель заблудших Маргарит, павших Кларисс, всех этих богинь, детей случая, которые бросаются в жизнь без руля и без ветрил.

Она, эта грешница, окруженная обожанием и поклонением молодости, скучала, и эта скука служила ей оправданием, как искупление за скоро преходящее благоденствие. Скука была несчастьем ее жизни. При виде разбитых привязанностей, сознавая необходимость заключать мимолетные связи и переходить от одной любви к другой, — увы! — сама не зная почему, заглушая зарождающееся чувство и расцветающую нежность, она стала равнодушной ко всему, забывала вчерашнюю любовь и думала о сегодняшней любви столько же, сколько и о завтрашней страсти.

Несчастливая, она нуждалась в уединении... и всегда была окружена людьми. Она нуждалась в тишине... и воспринимала своим усталым ухом непрерывно и бесконечно все одни и те же слова. Она хотела спокойствия... ее увлекали на празднества и в толпу. Ей хотелось быть любимой... ей говорили, что она хороша! Так она отдавалась без сопротивления этому беспощадному водовороту! Какая молодость!.. Как понятны становятся слова м-ль де Ланкло, которые она произнесла с глубоким вздохом сожаления, достигнув сказочного благополучия, будучи подругой принца Конде и



мадам Ментенон: «Если бы кто-нибудь предложил мне такую жизнь, я бы умерла от страха и горя».

Опера кончилась, прелестная женщина встала, хотя вечер был еще в полном разгаре. Ждали Буффэ, м-ль Дежазе и актеров из Пале-Рояля, не говоря уже о балете, в котором должна была выступать Карлотта, прелестное и грациозное создание, переживающее первые дни восторга и поэзии... Она не хотела дожидаться водевиля; ей хотелось сейчас же уехать домой, хотя остальную публику ожидали еще несколько часов удовольствия, под звуки музыки и при свете ярких люстр.

Я видел, как она вышла из ложи и сама накинула на себя шубу на горностаевом меху. Молодой человек, который ее сопровождал в театр, казалось, был недоволен, и так как теперь ему не перед кем было хвастаться этой женщиной, то он и не беспокоился больше о ней. Помню, что я помог ей укутать ее белые плечи, и она посмотрела на меня, не узнавая, с горькой улыбкой, которую перевела потом на молодого человека, расплачивавшегося в это время с портьершей, требуя у нее пять франков сдачи.

— Сдачу оставьте себе, — сказала она портьерше, приветливо кивнув ей.

Я видел, как она спустилась по большой лестнице с правой стороны, ее белое платье резко выделялось под красным пальто, а шарф, покрывавший голову, был завязан под подбородком, ревнивое кружево падало ей на глаза, но кого это трогало! Эта женщина уже сыграла свою роль, ее

рабочий день был окончен, и ей не к чему было думать больше о своей красоте. Наверное, в эту ночь молодой человек не переступил порог ее комнаты...

Должен отметить одну очень похвальную вещь: эта молодая женщина пригоршнями разбрасывала золото и серебро, увлекаемая как своими капризами, так и своей добротой, и мало ценя эти печальные деньги, которые ей доставались так тяжело; но вместе с тем она не была виновницей ни разорений, ни карточной игры, ни долгов, не была героиней скандальных историй и дуэлей, которые, наверное, встретились бы на пути других женщин в ее положении. Наоборот, вокруг нее говорили только о ее красоте, о ее победах, о ее хорошем вкусе, о модах, которые она выдумывала и устанавливала. Говоря о ней, никогда не рассказывали об исчезнувших состояниях, тюремных заключениях за долги и изменах, неизбежных спутниках потемок любви. По-видимому, вокруг этой женщины, так рано умершей, создалось какое-то тяготение к сдержанности, к приличию. Она жила особой жизнью даже в том обособленном обществе, к которому она принадлежала, в более чистой и спокойной атмосфере, хотя, конечно, атмосфера, в которой она жила, все губила.

В третий раз я ее встретил на освящении Северной железной дороги, на празднествах, которые Брюссель устраивал Франции, ставшей его соседкой и соотрапезницей. Бельгия собрала на вокзале, этом центральном пункте всех северных железных дорог, все свои богатства: растения из своих оран-

жерей, цветы из своих садов, бриллианты своих корон. Невероятная смесь всевозможных мундиров и лент, бриллиантов и газовых платьев заполняла место небывалого празднества. Французское пэрство и немецкое дворянство, испанская Бельгия, Фландрия и Голландия, разукрашенные старинными драгоценностями, современными Людовика XIV, представители больших, солидных промышленных фирм, масса изящных парижанок, похожих на бабочек в пчелином улье, слетелись на этот праздник промышленности и путей сообщения, покоренного железа и огня. Здесь беспорядочно были представлены все силы и красоты творения, от дуба до цветка, от каменного угля до аметиста. Среди толпы различных народностей, королей, принцев, артистов, кузнецов и европейских кокоток мы увидели или, вернее, я увидел эту прелестную женщину, еще более побледневшую, чем раньше, уже сраженную невидимым злом, которое влекло ее к могиле.

Она попала на этот бал, несмотря на свое имя, благодаря своей ослепительной красоте. Она привлекала всеобщее внимание, ей выражали восторг. Льстивый шепот провожал ее на всем пути, и даже те, кто ее знал, склонялись перед ней; как всегда, спокойная и презрительно замкнутая, она принимала эти восторги как нечто должное. Она спокойно ступала по коврам, по которым ступала сама королева. Не один принц останавливался перед ней, и его взгляды легко могла понять любая женщина: я преклоняюсь перед вашей кра-

сотой и удаляюсь с сожалением. В этот вечер ее вел под руку новый незнакомец, белокурый, как немец, бесстрастный, как англичанин, изысканно одетый, очень корректный, очень замкнутый; по-видимому, он считал свой поступок проявлением большой смелости, в которой мужчины упрекают себя потом до самой смерти.

Вероятно, поведение этого человека было неприятно впечатлительной особе, которую он вел под руку; она угадывала его своим шестым чувством и удваивала свою надменность; ее чудесный инстинкт подсказывал ей, что чем больше этот человек удивляется своему поступку, тем сильнее должна возрастать ее дерзость и презрение к угрызениям совести этого жалкого парня. Немногие понимали страдания, которые переживала в этот момент она, женщина без имени, которую вел под руку человек без имени; казалось, он подавал сигнал общему неодобрению и всем своим угрожающим поведением ясно выказывал свою беспокойную душу, нерешительное сердце и смущенный ум. Но этот англо-немец был жестоко наказан за свою скрытую тревогу; на повороте аллеи, залитой светом, наша парижанка встретила своего друга, неприятельного друга, который получал время от времени кончики ее пальцев для поцелуя и улыбку на ее губах.

— Вы здесь, — воскликнула она, — дайте мне руку и пойдем танцевать!

И, бросив руку своего официального кавалера, она начала танцевать вальс в два па, полный соблазна, когда его танцуют под музыку Штрауса,